



Д. А. ЛУТОХИН

Воспоминания о Розанове

1921 г. — год Достоевского¹. И помяная его, хочется обозреть и тех, кто находится в его орбите.

В сущности говоря, автор «Преступления и наказания» не оставил после себя определенной школы. Правда, влияние его было громадно. Весь европейский модернизм отразил на себе влияние его могучего гения. Писатели крупные у него учились, бездарные ему подражали, списывали из него. Но продолжателей его в области русского романа не было. Многих зато наших мыслителей влекло на страдную дорогу философских исканий Достоевского... Никому, однако, не удалось уйти по этому пути дальше него, кроме Розанова.

Но тогда как все «продолжавшие» Достоевского приходили к нему не сразу, а после долгих исканий, — и, несмотря на усвоение его мировоззрения, оказывались в «свойстве», а не в «родстве» с ним, пожалуй, один Розанов поражает органической близостью Достоевскому. Если литературные направления создаются не только влиянием больших мастеров — случайных продуктов слепой игры стихий — но и какими-то внутренними течениями в области идейного творчества, если в истории литературы приходится открывать как бы массивные горные системы, то нет лучше к тому примера: Розанов — «отрог Достоевского». Оба они из одной жилы.

Зимой 1903/04 года, будучи на 1-ом курсе Петроградского Технологического Института, куда попал из провинции, я с большим любопытством посещал петербургские литературные круги. Зачитывавшись до того модернистской литературой, был я удручен, однако, мещанским стилем тогдашней нашей литературной общественности. Сплетничали, хоть и с политической окраской, но пошло; мелко спорили, вульгарно флиртовали. Было тоскливо.

Случайно товарищ-технолог И. С. Степанов (тогда с<оциал>-д<емократ>) предложил мне познакомиться с В. В. Розановым, которого я очень ценил, — я с радостью откликнулся на приглашение и в одно из воскресений попал на вечерний «жур-фикс» к Василию Васильевичу на Шпалерную, 31². Это был период, когда Вас<илий> Вас<ильевич> жил наиболее зажиточно. Квартира была большая, светлая, с видом на Неву. Гостиная и кабинет завалены были книгами; много редких фотографий; какие-то особенно православные иконы, статуэтки Изида, католической Мадонны. Все как-то значительно, необыденно, какая-то глубокая культура в рамке русской крепкой семейственности. Это было то, по чему мне тосковалось, и я стал аккуратным посетителем розановских воскресений, изредка заглядывал к Вас<илию> Вас<ильевичу> и в другое время.

В столовой в воскресные вечера был всегда изящно сервирован чай. На столе торты, вино, фрукты. За самоваром обычно сидела жена Розанова — Варвара Дмитриевна или его падчерица — Александра Михайловна Бутягина (автор нескольких талантливых беллетристических произведений). На другом конце большого стола, поджав под себя одну ногу и непрерывно курая, восседал Василий Васильевич. Шел ему тогда 48-ой год. Вот его внешний облик: рыженький, худой, небольшого роста, с маленькими близорукими рысьими глазами, чуточку лукавыми, с высоким голосом и с какими-то немножко шаркающими мягкими шажками. Был он застенчив и не любил больших речей, публичных выступлений. Беседа больше шла около него — с ближайшими соседями по столу. Остальные либо прислушивались, либо вели свои разговоры. Общество у В<асилия> В<асильевича> бывало достопримечательное: кое-кто из Дух<овной> Академии и Рел<игиозно>-фил<ософского> общества, из редакций перцовского «Нового пути», «Мира искусства», а изредка, очень изредка кто-нибудь из «Нового времени». Там его недолюбливали. А некоторые, как Меньшиков и Буренин, и вовсе не переносили. Понимал и любил его один старик Суворин, также отгревший и Розанова, изнывавшего в провинции в бедности и не на любимом деле, как в свое время пригред Чехова. Много за это отпустится грехов А. С. Суворину.

Встречал я у Розанова Мережковских, Бердяева, Ремизовых, Белого, Сологуба, Вяч. Иванова, Бакста, о. Петрова, И. Л. Щеглова³, Е. А. Егорова. Бывала и молодежь, студенты, литераторы: Пяст, Евг. П. Иванов, Н. Н. Ге⁴, музыканты, В. В. Андреев, Зак⁵. Бывали и просто молодые люди. Вспоминаю прелестную

барышню, дочку — *horribili dictu* * — какого-то чиновника из знаменитого департамента у Пантелеймоновского моста⁶. Розанов звал ее Венерой — и она действительно была очаровательна.

Очень преданы Розанову были молодые Ге и Иванов. В<асилий> В<асильевич> среди них напоминал греческого философа в своей гимназии. Они вопрошали — а он разрешал все их недоумения. Беседы тянулись долго — часов до 2-х ночи. Прощаясь, В<асилий> В<асильевич> целовал тех, кто особенно его расположил к себе в этот вечер. Иногда дарил что-нибудь на память, какую-нибудь вещь, автограф, портрет. Не любил только он дарить свои книги — особенно нам, молодежи. «На все сумеете вы достать деньги, только на книжку жалко. А хорошо читается та книга, на которую пятаки откладывают». Гасли огни, — и В<асилий> В<асильевич> уходил один в свой кабинет, к своим монеткам, рассматривая которые он проводил целые часы по ночам, либо садился писать.

Писал тогда Розанов для «Нового пути» и для «Нового времени». В последнем Розанову было нелегко работать. Многие из его статей редакция газеты бросала в корзину. Хорошо, если вмешивался Суворин. Но В<асилий> В<асильевич> искал большой газетной аудитории, а потому мирился с «Новым временем». Для него было все равно, где писать свои, розановские мысли. Хотелось лишь для них больше резонанса. В<асилий> В<асильевич> был бесконечно аполитичен.

Весной 1905 г. я уехал в Париж. Вас<илий> Вас<ильевич> просил меня передать привет Струве. Оказалось потом, что такие приветствия П<етру> Б<орисовичу> посылались и с другими. Осенью 1905 г. Минский и Ленин начали было издавать «Новую жизнь». Розанов, зная, что я принадлежу к крайней левой части студентов, почему-то именно меня избрал, чтобы позондировать почву — нельзя ли ему начать сотрудничать в упомянутой газете. Увы, я не преуспел в этой просьбе. Использовать Розанова политической газете было невозможно. Как обрадовался В<асилий> В<асильевич>, когда Сытин пригласил его работать в «Русском слове». Суворин дал согласие — при условии сотрудничать под псевдонимом — и в «Русском слове» стали появляться фельетоны Варварина (по жене — Варваре).

По заказу Вас<илий> Вас<ильевич> писать не умел. Помню, раз по поводу рескрипта Булыгину, от 18 февраля 1905 г.⁷, Розанов поместил в «Новом времени» восторженное письмо о милости царя, подарившего народу право выборного представительства:

* Ужасно сказать (*лат.*)

очевидно, В<асилию> В<асильевичу> была сделана в редакции соответствующая злокачественная прививка, и В<асилий> В<асильевич> искренно заразился умилением. (А было это вскоре после 9 января, глубоко его расстроившего, хоть он и говорил тогда, что «на крови» свобода будет крепче.) Жена В<асилия> В<асильевича>, простая, но бесконечно милая — сердцем почувствовала всю неуместность его дифирамба государю. В<асилий> В<асильевич> был крайне сконфужен и имел очень виноватый вид. Не любила жена Розанова и то, что В<асилий> В<асильевич> избрал своей темой пол — и часто пеняла его за это. В<асилий> В<асильевич> сердился и, конечно, теме не изменял.

Многие знают писателя Розанова — правда, не все еще оценили этого удивительного художника-мыслителя. Но не многие знали Вас<илия> В<асильевича>, как собеседника. Пожалуй, в беседе В<асилий> В<асильевич> был тот же, что и за письменным столом. «Мысли стекают у него с пера», говорил он. Но так же не надумана, даже неожиданна и для него самого была речь его, когда ничто его не смущало. Говорить публично он не умел, несмотря на педагогическую карьеру. А вот за стаканом чая с двумя-тремя приятелями — говорил он прекрасно, глубоко и удивительно смело. Темы были все те же, религия, пол, литература. Очень интересовали его писатели наши, изучавшие национальное русское лицо: славянофилы, К. Леонтьев, С. Рачинский⁸, А. А. Козлов⁹.

В связи с изучением вопросов пола Розанов построил собственную характерологию. В частности, и писателей делил он на женственных и мужественных. К женственным причислял он Лермонтова и себя. Это не было заимствованием. Вейнингера¹⁰ он не читал — или прочел 2–3 страницы из середины. Читать внимательно современных писателей он не любил: не стоили его внимания. Вот другое дело — писания святых отцов, археологические изыскания.

Литературный критик, Розанов совершенно лишен был *логической* способности, умения *последовательно* мыслить — единства апперцепции, как говорил Зиммель¹¹.

Его ассоциации были всегда не по смежности, а по сходству. Он не был мыслителем, а художником мысли — умел мыслить только образами. Алогический ум — ум, который и определяет по Вейнингеру женственные натуры. Но мысль, капризная, произвольная, неожиданная — пенилась, искрилась, бурно играла в Розанове.

В поле боготворил он женское начало во всех его формах. Как-то возвращаясь от него пешком на Троицкий проспект, часу в третьем ночи, я поражен был, видя, как какая-то трепаная гнилая проститутка тащила к себе гимназиста, подростка лет 14 и потом рассказал об этом, оплакивая мальчика, Розанову. «До-

рогой мой — да ведь она же как на зеленом лугу будет отдыхать с ним», — обрадовался за нее Розанов.

Через несколько лет шел я пешком вечером с Розановым, кажется, из театра, по Невскому и я что-то сказал о проходящих невских «девочках», очень подчеркнув кавычки. Но как осердился Розанов: «Никогда не говорите этого гнусного слова: каждая женщина свята. Я каждую мысленно напутствую крестным знаменем».

Очень интересуясь всем о поле, он уверял меня, что ни разу не был в обществе проститутки, в публичном доме, в кафешантане.

В то же время он легко прощал пороки. Как-то разговорились о мастурбации у девушек-подростков. «Уверен, — заметил он, — что грешна каждая: иметь в кармане конфеты, да не лакомиться» (sic!).

Многого я не понимал в нем, и он удивленно говорил мне: «В вас какая-то едкость есть, как у католического патера».

Религией Вас<илия> В<асильеви>ча был пантеизм — и природа распадалась для него на элементы мужского и женского. Всегда и во всем бежал он борьбы, противоположностей и высшей формой жизни считал примирение полов в здоровом браке. Не для пошляков говорил он, когда предлагал ложе новобрачных ставить в храме. Ведь здесь источник жизни и потому хотел он освятить начало брака не только молитвой, но и всенародностью. Дурных вещей ведь публично делать не принято.

Повседневное не интересовало Розанова, как вещь an und für sich *: он все рассматривал sub specie aeternitatis ** — и презренна была ему политика. Вот почему и просиживал он за древними монетами целые ночи.

Влекло его и к метафизике, к потустороннему — «в мир неясного и нерешенного». В этом, как и в своеобразном гуманизме его, близость его с Достоевским, которому родственен он и по языку острому, напряженному, вещему.

Все земное казалось ему прекрасным. Бога низводил он на землю, усиживая пить с собой чай, хотел убедить его. Розанов — это «человек из подполья» Достоевского, но гениальный в утверждении обывательщины. И облакал он эту обывательщину в прекрасные, вечные формы — из любви к человеку, жалея человека.

Российская «крайняя левая» помышляла о материальных благах для народа — «чтобы хоть через триста лет марки стоили на копейку дешевле», как мечтает где-то у Глеба Успенского

* сама по себе (нем.)

** с точки зрения вечности (лат.)

сельский писарь. А Розанов хотел сейчас всех насытить материальными благами.

Его раздражало приглашение жертвовать целыми поколениями во имя неизвестного будущего. Как и Достоевскому, Розанову именно за это противна была радикальщина русская всех толков, но за это же восставал он против самого Христа.

Розанов не хотел ничьих страданий — и звал всех униженных и обойденных к семейственности, к церкви, к национальной культуре. Величайших страдальцев видел он в «людях лунного света», к которым он причислял и Христа — людях слабых, людях, лишенных способности любить и множиться. Физиологической неспособностью жить, как все — «нормально» объяснял он неприемлемость для «революционеров» исторических традиционных форм жизни.

Религию почитал он ради умеряющей волнения души обрядности, ради особого ее быта... ради предписываемой ею гигиены.

Против Христа восставал дерзновенно — ведь он искренно православным был: не терпел жертвы, умерщвления плоти. Ближе ему был Моисей, еще в начале 1900-х гг. увлекался он изучением иудаизма.

Многие считали его антисемитом за его статьи о ритуальных убийствах. Отсюда «легенда», что В<асилий> В<асильевич> раскался в антисемитизме, перед смертью. Раскаиваться было не в чем. Иудея была второй его родиной — духовной. Детский интерес В<асилия> В<асильевича> к древним таинственным культам, нередко жестоким (перечитайте хотя бы поразительные сцены «Салаambo»!)¹² вызвал у В<асилия> В<асильевича> теорию о том, что у евреев была издавна тайная секта, приносившая человеческие жертвы. При этом он подчеркивает жестокость и многих христианских сект (хлысты, самозакапыватели и т. п.). И в допущении возможности ритуальных убийств В<асилий> В<асильевич> не видел ничего отрицательного для истории евреев. О том же, что погромщики постараются использовать его теорию против еврейства, Розанов не думал: был он наивным ребенком в политике.

Кажется, озлобленный травлей против него за статьи о ритуальных убийствах, Розанов написал много несообразного и дурного. Но как все внешне робкие, застенчивые люди, он иногда терял самообладание. И обидчив он был очень. (Интимного для него не существовало — и о противоестественных пороках какого-нибудь друга мог он *en toutes lettres* * написать фельетон в газете. А вот когда я коснулся в беседе с ним его личной жизни,

* напрямик, без сокращений (*франц.*)

отношения к первой жене и т. п., — о, как разобиделся на меня В<асилий> В<асильевич>! Какие слова он злобно изрыгнул! Человек он все же был, хоть и гений (?) — со своими слабостями и грехами, маленькими и большими.)

Недолго хорошо жил В<асилий> В<асильевич>. Умер Суворин, прекратились издания рел<игиозно>- фил<ософских> ежемесячников «Нового пути», «Вопросов жизни». В «Русской мысли» Розанов оказался лишь гастролером. Не везло В<асилию> В<асильевичу> и в домашней жизни. Тяжко, неизлечимо захворала любима жена В<асилия> В<асильевича>. Он почему-то себя считал виновником этой болезни. Лечение поглощало много средств. Скромнее становились квартиры. Переехал на Звенигородскую, в квартиру поскромнее, а потом и в совсем скромную квартиру, на Коломенскую¹³. За год, кажется, до смерти перебрался он в Сергиево-Троицкий посад. Здесь пришлось испытать Розанову форменную нищету. Один из москвичей рассказывает мне, что В<асилия> В<асильевича> можно было незадолго до смерти встретить на вокзале собирающим окурки.

Умер его любимый единственный сын (остальные дети — дочери). Род Розановых оборвался в мужском колене — это было великим его горем. До конца жизни, однако, сохранил В<асилий> В<асильевич> творческий пытливый свежий ум, яркий, острый язык. Только вот школы после Вас<илия> Вас<ильевича>, как и после Достоевского, не осталось. И Мережковский, и Шестов, и некоторые другие современники Розанова многому у него научились, но они все же не образуют его школы.

Была около него молодежь, любящая, насыщенная розановщиной — но, не знаю почему, розановщина их сушила, и никого не дал литературе этот кружок молодежи, «гимназия» «циника Розанова».

Не только желание в дни о Достоевском помянуть его литературного «двойника», но любовь к незабвенному В<асилию> В<асильевичу> продиктовали мне настоящую краткую о нем памятку. Но нужны ли воспоминания о Розанове?

С откровенностью, большей чем у Руссо, написаны им автобиографические признания «Уединенное», два короба «Опавших листьев». Книги, увы, все еще не оцененные.

Гениальность Достоевского раскрылась теперь для всех, даже для политических его антиподов. Родной Достоевскому Розанов, могучий его «отрог», может быть, не такой широкий сложный мыслитель, как Ф<едор> М<ихайлович>, ушел в своих откровениях дальше, оказывался дерзновеннее.

